

власти по следам Мити, что черт отворил двери в сад, то теперь уже и второй сын, обвиненный в отцеубийстве, Иван, высказал, что не он, Иван, а черт — соучастник убийства.

И именно теперь уже не Митя и не он, Иван, а Смердяков и черт, — вот они двое подлинных убийц Федора Павловича. И если бы выяснилось, что, по замыслу автора, Смердяков в романе дублирует черта, то единственным убийцей и окажется в конце концов только черт. Не Митя, не Иван, не Смердяков — черт убил.

Здесь есть над чем призадуматься.

Высказывание обоих братьев Карамазовых, что черт убил отца, пока еще несерьезно, но оно приобретает свою серьезность, когда читатель убедится, что автор действительно отождествляет фактического убийцу Федора Павловича, Смердякова, с реально выведенным в романе русским джентльменом, с чертом, т. е. когда раскроется та загадка, которую задал автор читателю самим образом черта.

Кто же он — черт?

II

УБИЙЦА-ДУБЛЕР

Отметим еще раз, что Иван не отделяет себя от черта, черт — от Ивана, как не отделяет себя от Ивана и Смердяков-убийца, как не отделяет себя от Смердякова-убийцы и сам Иван.

Разве не Иван говорит Катерине Ивановне¹, что если убил не Дмитрий, а Смердяков, то, конечно, убийцей отца является он, Иван?

¹ 10, 138.

Это признание, сделанное Катерине Ивановне, повторяется в романе еще раз². Значит, автор подчеркивает это обстоятельство.

Но этого еще мало. Не только Смердяков-убийца не отделяет себя от Ивана, но и Смердяков-философ и даже Смердяков-трус не отделяют себя от Ивана:

«— Ты думал, что все такие трусы, как ты?» — спрашивает Иван у Смердякова во время свидания.

«— Простите-с, подумал, что и вы, как и я»³.

Мы к обвинению в трусости Ивана еще вернемся в связи с чертом. Что же до философа Смердякова, то ведь философия Смердякова есть по существу философия самого Ивана: сперва она только теория — «все позволено», а затем она уже теория, воплощенная в практику — в убийство. Мы даже вскоре убедимся, что под формулой «все позволено» скрывается у Достоевского не просто только философия вообще, а одна из крупнейших европейских философских систем. Пока же, читатель, удовольствуемся скромным результатом, что не только черт и Иван — одной философии, но и Смердяков и Иван — тоже одной философии, т. е. что философские воззрения черта и Смердякова совпадают.

Поэтому не удивительно, что для самого Ивана черт и Смердяков как бы сливаются воедино, уходят из действительности в галлюцинаторный, призрачный мир кошмара. Если черт — этот сон и призрак («Ты сон, ты призрак», — говорит в лицо черту Иван), то и Смердяков (как уже отметил читатель, после своего признания, что он, Смердяков, убил) кажется Ивану тоже сном и призраком: «Я боюсь, что ты сон, что ты призрак предо мной сидишь»⁴, — говорит Иван Смердякову.

Этот сон, этот призрак-Смердяков дразнит Ивана, мучает, издевается над ним точно так же, как дразнит, мучает и издевается над ним в кошмарном бреду черт. И если от черта не отвязаться, то и Смердяков намеревался, как думает Иван, всю жизнь мучить его и потому же самому поводу, что и черт. Смердяков только

² 10, 231.

³ 10, 126.

ставит тему, дает наметку, а черт подхватывает и развивает ее, повторяя даже слова и доводы Смердякова

И эта карикатура Ивана, этот Смердяков, который так глуп, которого Федор Павлович называл не иначе как ослицей, прокурор — «слабоумным», а Иван — просто идиотом и дураком, вдруг оказался вовсе не так глуп: обдумал и осуществил он убийство мастерски.

«— Нет, ты не глуп, ты гораздо умней, чем я думал...»⁵ — восклицает Иван во время свидания.

(Или:

«— Ты не глуп (...) я прежде думал, что ты глуп».)

И, заметьте, это сказано Иваном непосредственно после слов: «Ну... ну, тебе значит сам черт помогал!»

Но разве черт, этот ночной кошмарный гость, который тоже, как и Смердяков, «ужасно глуп и пошл» которого награждает Иван кличками «осел» и «дурак» («Не философствуй, осел!»)⁶, не получает такую же похвалу от Ивана:

«— Как, как? Сатана *sum et nihil humanum...*⁷ это не глупо для черта».

Даже выражение одно и то же: «неглуп, неглупо». Но уподобление идет еще дальше. Оба — и Смердяков и черт — подлецы и негодяи, оба творят мерзости. Сам черт называет эти мерзости пакостями (черт, как известно из исповеди черта Ивану, и остался при пакостях). Иван бранит его в лицо «мерзавцем». Но и Смердякову Иван бросает брезгливо в лицо, и не раз, того же «мерзавца».

«— Да я и догадывался об чем-нибудь мерзком с твоей стороны... с твоей стороны всякой мерзости ждал»⁸.

Или:

«— ... предчувствовал даже от тебя какой-нибудь мерзости...»⁹ Значит, и по мерзостям Смердяков сходен с чертом.

От отвращения и ненависти к Смердякову-убийце (кстати, к единственному обвинителю его, Ивана, в

⁵ 10, 155.

⁶ 10, 168.

⁷ *esum et nihil humanum...* (лат.). 10, 166.

⁸ 10, 126, 127.

⁹ 10, 136.

убийстве) Иван готов у б и т ь С м е р д я к о в а. Желание убить Смердякова всплывает у Ивана не раз. Уже возвращаясь со второго свидания, он говорит самому себе:

«Надо убить Смердякова!.. Если я не смею теперь убить Смердякова, то не стоит и жить!..»¹⁰

Он и на третье свидание идет с мыслью: «Я убью его, может быть, в этот раз».

И после признания Смердякова в убийстве, во время третьего свидания, Иван перед уходом говорит уже самому Смердякову, что не убил его только потому, что тот ему для суда на завтра нужен¹¹.

Желание убить Смердякова-убийцу есть желание не только убить свидетеля, убить убийцу отца: это есть желание убить в самом себе Смердякова-убийцу, т. е. отцеубийцу.

От отвращения и ненависти к Смердякову Иван даже раз крепко ударил его кулаком и довел до слез.

Но и черту, от отвращения к нему, Иван грозил пинков *на да в а т ь*» за издевательство над великим решением Ивана объявить суду, что убийца отца — он, Иван. А дальше, совсем как до того Смердякову, Иван теперь грозит черту:

«— Молчи, *или* я убью тебя!»¹²

Итак, Иван готов убить и Смердякова и черта.

Но как не смеет Иван убить Смердякова, так не смеет Иван убить и черта. Он только напоследок заустил в черта по-лютеровски во сне стаканом, т. е. тоже как бы ударил.

Автор здесь не случайно дублирует удар.

Даже самая сущность Смердякова и черта определяется одинаково: словом *ла кей* — не в профессиональном, а в моральном смысле.

Ивану и прежде, еще до убийства, хотелось избить Смердякова — до такой степени «стал ему этот *ла кей* ненавистен как самый тяжкий обидчик»¹³, — так же ненавистен, как черт — тоже *ла кей*, тоже обидчик.

¹⁰ 10, 138.

¹¹ 10, 157.

¹² 10, 178.

¹³ 9, 346.

«— О, ты идешь совершить подвиг добродетели объявить, что убил отца, что лакей по твоему наущению убил отца»¹⁴, — глумится черт в кошмаре над Иваном. Но ведь именно у самого черта, этого приживалщика, как его честит Иван, лакейская душа.

«— Молчи про Алешу! Как ты смеешь, лакей!»¹⁵ — негодует Иван. И немного погодя, в той же сцене, чуть не с отчаянием, восклицает, обращаясь черту:

«— Нет, я никогда не был таким лакеем! Почему же душа моя могла породить такого лакея, как ты?»¹⁶

Читателя трудно упрекнуть в искусственном подборе материала сходства — итог слишком внушительный.

И Смердяков и черт — оба они неотделимы от Ивана, оба — сон и призрак, оба — первоначально ужасно глупы, но внезапно умнеют, их обоих над убить (в одного Иван даже запускает стаканом, а другого ударяет кулаком), оба — лакеи, в контраст Ивану, и оба мучают и дразнят Ивана и готовы мучить и дразнить его без конца, а главное — по одному тому же поводу, по поводу «великого решения» Иван показать на себя на суде, т. е. по поводу отцеубийства, причем этот идиот Смердяков дразнит и мучает Ивана не хуже самого черта.

Разве может, т. е. разве хочет Иван поверить, что Смердяков убил отца, разве это не издевательство, не безумие!

«— Ты или сумасшедший, или дразнишь меня как и в прошлый раз!»¹⁷ — бешено завопил Иван, угрожая Смердякову. Это, впрямь, может довести до бешенства.

Но разве черт не доводит его до бешенства, разве не жалуется Иван Алеше в главе «Это он говорил после кошмара, что черт дразнит его: «— И знаешь ловко, ловко: „Совесьть!“ Что совесьть? Я сам ее делаю»¹⁸.

¹⁴ 10, 184.

¹⁵ 10, 164.

¹⁶ 10, 178.

¹⁷ 10, 146.

¹⁸ 10, 184.

Черт дразнит Ивана за то, что Иван мучается совестью «по всемирной человеческой привычке за семь тысяч лет», что он идет совершить подвиг добродетели, показать на себя на суде, а сам в добродетель не верит, что он от гордости идет — потому что хочет, чтобы его похвалили за благородство чувства (хотя после самоубийства Смердякова жертва его напрасна), и что Иван сам не знает, почему он идет: он идет, потому что он трус, потому что не смеет не пойти, а почему не смеет — загадка.

Но не над этим ли самым издевается и Смердяков? Как совпадают со словами Смердякова «...какую вы жажду имели к смерти родителя»¹⁹ (конечно, для получения наследства) насмешливые слова черта о том, что он, черт, любит «мечты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей» своих, которым «все позволено», в том числе позволено, конечно, для удовлетворения этой жажды жизни, и убивать²⁰.

Ведь и Смердяков убеждает Ивана, что именно для удовлетворения этой жажды Иван якобы согласился на убийство родителя, ибо, мотивирует Смердяков точку зрения Ивана, такому «великому человеку», как Иван, все позволено.

Вы «тогда смелы были-с, „все, дескать позволено”, говорили-с, а теперь вот как испугались!»²¹ — саркастически подводит Смердяков под «жажду жизни» Ивана теоретическую базу — ту же, что впоследствии подвел и черт — и, как черт, издевается над трусостью Ивана.

Эта теоретическая база черта формулирована им со всей четкостью в кошмаре: раз «бога и бессмертия нет», то «„все дозволено”, и ша-баш!»²², т. е. черт повторил давно известное читателю положение Ивана Федоровича: «Нет добродетели, если нет бессмертия», высказанное им еще в самом начале романа перед старцем Зосимой в монастыре²³.

¹⁹ 10, 151.

²⁰ 10, 178—179.

²¹ 10, 147.

²² 10, 179.

²³ 9, 91.

Но разве Смердяков, отдавая Ивану во время третьего свидания запятнанные кровью Федора Павловича три тысячи рублей, не формулирует одинаково чертом и самим Иваном это же положение (ведь об они одной философии!):

«— Не надо мне их вовсе-с... Была такая прежняя мысль-с, что с такими деньгами жизнь начну [и у Смердякова, стало быть, была „жажда жизни“!] (...) а пущ все потому, что „все позволено“. Это вы вправду меня учили-с, (...) ибо коли бога бесконечно нет, то и нет никакой добродетели, да не надобно ее тогда вовсе»²⁴.

А дальше именно и идет то самое обстоятельство которое послужило поводом для издевательства черта, ибо на вопрос Ивана: зачем же Смердяков отдает деньги, раз он уверовал, Смердяков, махнув безнадежно рукой, отвечает весьма ехидно:

«— Вы вот сами тогда все говорили, что все позволено, а теперь-то почему так встревожены сами-то-с. Показывать на себя даже хотите идти»²⁵.

О, это «показывать на себя даже хотите идти» уже действительно есть прямое совпадение с издевательством черта над «великим решением Ивана», равно как и дальнейшее ехидное замечание Смердякова о якобы полной бесполезности показания Ивана на суде, как и беспощадное, нестерпимое для гордости Ивана заявление Смердякова о полной катастрофе и банкротстве прежнего гордого «человеко-бога» Ивана

«— А что же, убейте-с. (...) Не посмеете и этого-с (...) ничего не посмеете, прежний смелый человек-с!»²⁶

На эти же слова о прежнем смелом человеке, который сейчас уж ничего не смеет, с обидой жалуется Алеше Иван по поводу наглого издевательства над ним черта:

«— Он меня трусом назвал, Алеша! Le mot de l'énigme²⁷, что я трус! „Не таким орлам воспарять над землей!“ Это он прибавил, это он прибавил! И Смердяков это же говорил. Его надо убить!»²⁸

²⁴ 10, 156.

²⁵ 10, 157.

²⁶ Там же.

²⁷ Разгадка (франц.).

²⁸ 10, 186.

Кого «его»: Смердякова или черта? — И того, и другого, как известно читателю. Ведь крик души Ивана о том, что Смердякова надо убить, уже прозвучал; и только что прозвучал насмешливый ответ Смердякова: «Не посмеете». И это «не посмеете» Смердякова вполне корреспондирует с ехидным ответом черта на вопль Ивана: «Молчи, или я убью тебя!»

«— Меня-то убьешь?» — насмехается черт. — «Нет, уж извини, выскажу»²⁹. И черт тут же высказывает изложенную выше философию Смердякова и Ивана насчет «все позволено».

Мы можем теперь снова подвести итог.

Пока Смердяков был жив, черт только полунамеками, иносказательно, безымянно, как некий «он», все время мелькает перед читателем, однако стоило Смердякову умереть, как черт появился уже воочию, как фигура, как действующее лицо, как дублер сошедшего со сцены актера, уже более не участвующего в дальнейшем спектакле. И то, что раньше высказывал на протяжении многих страниц Смердяков, теперь высказывает и развивает на протяжении двух глав, двух последних сцен, черт, который *n'existe point*³⁰, как он сам не без умысла говорит о себе. Теперь черт — дублер Смердякова; он — единственный, кто до прихода Алеши, знал, что Смердяков повесился.

Пусть черт и раньше появлялся перед Иваном. Но пока Смердяков был жив, перед читателем черт воочию не появлялся и голоса его читатель не слышал. Когда его, еще незримого читателю, дублировал Смердяков. Отныне же сам черт дублирует ставшего незримым покойника Смердякова.

Теперь, когда читатель выяснил, что не Смердяков и Митя, и не Смердяков и Иван, а Смердяков и черт, по замыслу автора, двое подлинных убийц Федора Павловича, когда читатель также выяснил, что Смердяков — фактический, так сказать «материальный», убийца Федора Павловича, — дублирует черта, его символического убийцу, а черт, в свою очередь, дублирует Смердякова, не признавшего себя единственным убийцей и вообще виновником убийства, теперь всю

²⁹ 10, 176.

³⁰ вовсе не существует (*франц.*).

свою серьезность получает высказывание обоим братьев Карамазовых, обвиненных человеческим и божьим судом в отцеубийстве, что виновником, единственным виновником убийства Федора Павловича Карамазова является, по замыслу автора, не кто иной, как черт³¹.

Если прежде здравомыслящий читатель недоумевал и усмехался про себя, говоря: — «Черт? что за черт, черт возьми!» — то, ежели он и сейчас еще будет продолжать недоумевать, все же усмехаться он будет вряд ли. Теперь читатель уже со всей серьезностью спросит: — Кто же этот черт?

И впрямь, что за загадку загадал автор романа и лице черта-убийцы?

III

СЛОВЕЧКИ «СЕКРЕТ» и «ТАЙНА»

Среди слов и словечек особого значения есть у Достоевского в романе одно слово-спецификум непрерывно дразнящее читателя своим своемыслием и двусмыслием, въедающееся в сознание как-то особенно ядовито и иронически, так сказать, до крови, как тончайший волосок иного растения, и при этом светящееся, как гнилушка во тьме, — слово секрет. И хотя рядом с ним стоят и его синонимы — «загадка» и «тайна», но смысл у слова «загадка» нейтральный, а у слова «тайна» — обычно противоположный смыслу слова «секрет», т. е. положительный, глубокий, утверждающий смысл, в то время как в слове «секрет» как будто таится нечто негативное, предостерегающее, нечто подмигивающее, интригующее и злокозненное. Выны

³¹ Мы различаем авторский план романа, т. е. смысловой, и читательский, т. е. фабульный. По авторскому плану романа убийца старика Карамазова — черт, а не Смердяков.